



84Р6
И 20

СЕРГЕЙ
ИВАНОВ

Под крышей из облаков



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ» 1989

СТРАНА
Родная

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Под крышей
из облаков

Рассказы о Подмоскovie



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ» МОСКВА 1989



ПЕРВЫЕ ДНИ

Осень чутье всего слышит берёза — самое грустное дерево в нашем краю.

Ещё будто лето: в полдень жара, облака высокие, белые, важные, как вельможи. Три облака на всё небо!

Ещё распускаются, спешат распуститься какие-то запоздалые цветы. И горят, горят на солнце в ожидании пчёл.

Ещё вода в речке тепла. Без опаски падаешь прямо с берега — и волны, брызги, звон во все стороны!.. Ещё лето, твердишь себе, ещё лето!

А берёза уже знает. И глядишь: среди шелестящей, звенящей её зелени тайной лисою крадётся к земле первый осенний лист. А вон и второй! Откуда-то с самой верхушки оборвался и полетел, полетел. Это подхватил его неведомо как явившийся сюда скользкий ледяной ветерок.

Ты передёрнешь плечами — и вдруг почувствуешь, как, неслышимое до этой секунды, бьётся твоё сердце. Осень вдруг на мгновение заглянула сюда из послезавтра.

И кончено! Смотришь на всё иными глазами. Замечаешь, что жар короткого полдня слишком тяжеловесен для лета. И белые облака плывут не с жаркого юга, а с северо-запада. И в облаках не только белизна, но и тёмная синь.

И вдруг вспомнишь, как холодна и густа была сегодня роса. И вдруг вспомнишь: а ведь уже грибы пошли — солдаты осенние.

Вечером в небе крупно висят звёзды. А среди ночи проснёшься и услышишь: по крыше, по старой дранке шуршит дождь. И по родной берёзе твоей тоже шуршит дождь. Завтра его назовут грибным, а ты уже знаешь — осенний...

Утром мокро — от росы, от дождя. Небо синее — синее, чем летом. Кругом ни облака. По реке к лесу тянется белая дымка. А воздух прозрачен. Смотришь сквозь него на всё это, и становится грустно. Но хорошо.



ДЛЯ
ПОЧТЫ

ПИСЬМО

С конца весны и до середины лета мы не были на даче. А когда приехали — ахнули! Без хозяйского глаза всё буйно разрослось, стало каким-то чужим, диким... Над участком клубники там и здесь развевались султаны травы. Помидоры и огурцы почти совсем потерялись в чащобе сорняков.

И сам наш дом тоже как будто незнакомым стал. Сквозь щели в полу террасы пробивались какие-то бледные ростки, по стене — от пола к потолку — пролегла муравьиная дорога, в пустых комнатах хозяйничали мыши. Но самое неожиданное было в почтовом ящике. Там свили гнездо осы. Одной стороной оно упиралось в железную стенку ящика, другой в письмо. И видно, письмо это уже давно поджидало нас здесь.

Начались споры, как поступить.

— Письмо надо вынуть! — сказал Вовка.

— Письмо вынешь, а гнездо разрушишь, — ответила Катя.

И Вовка был прав, и Катя была права. И между прочим, я почти точно знал, что это письмо для меня: Вовка с Катей писем пока ещё не получают.

Вовка сказал:

— Если б хоть были пчёлы, а то осы!.. Осы не приносят людям никакой пользы!

— «Пользы, пользы»! — рассердилась Катя. — Что же, нам разрешается всё ломать, что не приносит пользы? Кто это тебе сказал?

Так мы и не знали, что же всё-таки сделать. День шёл за днём, складываясь в недели. А письмо продолжало лежать в ящике, над которым постоянно как бы вился дымок — это влетали и вылетали осы.

В конце июля вдруг размокропогодилось, редкий день обходился без дождя. И по всему было видно, что письмо наше промокает всё до последней буковки!

— Письмо, конечно, не моё, — говорил Вовка, — но будет обидно, если там что-нибудь важное. Все слова уже, наверное, расплылись.

— Если б там было написано важное, — ответила Катя, — то уже что-нибудь бы произошло. Но ведь ничего такого не происходит!

В конце августа осы вдруг исчезли. Может, они вылетели все разом, как облако дыма из паровозной трубы, может, по



одной — длинной-длинной цепочкой, может, ещё как-нибудь... Я не знаю, мы этого не видели. Просто мы однажды заметили, что гнездо опустело.

— Вот и улетели, — сказала Катя, — даже не попрощались!

А Вовка уже бежал к почтовому ящику... Он вынул гнездо, которое было похоже на кулёк, свёрнутый из очень плохой серой бумаги.

— Не ломай его! — крикнула с террасы Катя.

— Зачем мне его ломать, — пожал плечами Вовка.

Письмо почти не пострадало, даже адрес, написанный карандашом, сохранился: «Московская область, посёлок Заветы Ильича, улица Ломоносовская, 26». Письмо было не мне, не Вовке, не Кате, а всем нам вместе. Один наш знакомый писал, что заезжал к нам как-то в начале лета, не застал никого дома и вот оставил под крыльцом банку черешневого компота.

Мы заглянули под крыльцо. Там действительно была эта банка. Она вся проржавела, и компот прокис.

— Эх! — махнул рукой Вовка. — Самый мой любимый компот!

Если говорить честно, то и мой тоже.

Вот и весь рассказ. О чём же он? То ли о том, какую необыкновенную штуку выкинули осы. То ли о том, что жаль терять компот из-за каких-то ос. То ли о том, что жаль разрушать даже и осиное гнездо из-за какого-то компота!





ВОЕННЫЕ СОСНЫ

На краю нашего посёлка, за последним домом, там, где бугор круто уходит к реке, стоят сосны,— их много, двадцать или тридцать, я никогда не считал. Они стоят редко, но сразу понятно, что они вместе. Они все гиганты— кроны под небеса, ствол прям и строен, корни на много метров уходят в небогатую нашу сухую и рыжеватую землю.

Они стоят на бугре, и ни один ветер не обходит их стороной. Ни тот холодный, что приходит с северо-запада, из «гнилого угла неба», вместе с осенними тучами. Ни южный, прилетающий к нам вместе с апрелем и птицами. Ни шальной восточный, который к середине июля обязательно притащит на буксире грозу.

А сосны стоят и стоят. Качаются. Или упруго гнутся, как огромные луки. Совсем рядом с ними, в туче, на небесах, рождается молния. И сосны молчаливо знают, что раньше всего эта молния может попасть в них.

Однажды во время особенно близкой и сильной грозы мы с моим приятелем Женькой стояли у окна в его доме и смотрели на эти сосны. И очень надеялись, что молния ударит в одну из них. Как вы понимаете, были мы тогда ещё довольно маленькими. И вот, словно специально для нашего хотенья, из тучи хлестнуло особенно громко, да с каким-то ещё присвистом и шипением, потом — хлясть! хруп!

Мы оба невольно присели. А Женька даже схватился руками за голову, словно боялся, что волосы его улетят. И тут в кроне ближней к нам сосны что-то ослепительно блеснуло, огненная змея промчалась по стволу, словно собиралась его расстегнуть,— и пропала.

Мы с Женькой бросились к двери, но не распахнули её, чтобы бежать и смотреть. Мы испугались... И, будто в подтверждение нашего испуга, почти подряд упало два грома — два громадных кулака ударили в дверь. Мы на цыпочках вернулись в комнату, и Женька даже закрыл окно ситцевой занавеской.

Но когда всё кончилось, мы, конечно, первым делом пошли к сосне. Она стояла всё так же прямо и зеленела ещё сильнее в омытом сверкающем небе. Сверху и донизу по стволу её сбегал узкий трёхэтажный шрам... Я протянул к нему руку и не дотронулся — чтобы сосне не было больно. Шрам уже начал затекать первыми каплями лечебной смолы.

Он долго оставался на сосне — чуть ли не лет десять. Внизу зарос быстрее, а наверху — мне кажется, я и теперь его ещё нахожу. А может, мне это действительно только кажется. Всё-таки до кроны очень высоко!

Мы, конечно, всем рассказывали про молнию на сосне и показывали шрам, уже весь залитый молодой медовой смолой. Наверное, с тех пор я стал понимать, какие огромные и какие сильные эти сосны. И как много им пришлось перенести за свою жизнь... За свою очень большую жизнь.

Не знаю, можно ли так выразиться, но я стал их уважать. Теперь в лесу я уже ни за что не смог бы сломать полуметровую сосёнку, чтобы отмахиваться от комаров. Я представлял те гигантские сосны — вот на самом деле, что я сломал! И становилось просто ужасно.

Мой дядя, Константин Григорьевич, был лесоводом. Он носил фуражку, на которой вместо звёздочки была прикреплена небольшая позолоченная ветка. Он много всего знал про деревья и даже сам сажал их. Один его яблоневый сад до сих пор растёт на бывшем пустыре в нашем посёлке.

Однажды я спросил у дяди про огромные сосны, что росли на краю бугра за последними домами.

И дядя Костя рассказал мне, что когда-то это был огромный бор. Он тянулся далеко — на много километров. В нём и грибы водились, и дичь, и ягоды, и чего только в нём не было! А сосны все одна к одной — такие же громадины.

Когда началась война и немцы подошли совсем близко к Москве, то стали делать засеки — валили подмосковные леса нарочно вкривь и вкось, чтобы не могли пройти вражеские танки, пушки и вся другая их техника. И это значило, что наш лес тоже воевал наравне с партизанскими лесами. Он даже, можно сказать, расплатился за победу своей собственной жизнью.

Из всей поднебесной сосновой армии уцелело лишь несколько десятков великанов... Теперь уже подросли новые деревья, новые леса — берёза, осина, ёлка — те, что растут побыстрее. Среди них одинокими островами возвышаются военные сосны. Стоят над остальным лесом, как над травой, издали машут друг другу ветками.

А вот у нас перед посёлком их сохранился даже целый отряд.

— Но это, конечно, вымирающий лес, — говорил дядя Костя. — Да, вымирающий!





Мы стояли с ним в конце нашей улицы у подножия громадных деревьев. Сосны тихо-тихо качались под тем ветром, что медленно катил по небу облака, а к нам на землю не долетел ни струйкой. Я смотрел на стройных великанов и думал: «Бедные вымирающие сосны!» Сам я был ещё маленький, жизнь впереди казалась бесконечной, и я очень жалел вымирающие деревья.

С тех пор прошло много лет. Мой дядя умер, а я давно уже стал взрослым. Теперь я хожу гулять со своей племянницей Катей. Мы смотрим на деревья, а они всё так же качаются под неслышимым с земли ветром.

— Грустные они какие-то,— говорит Катя.

— Нет, не грустные,— отвечаю я,— они просто задумчивые, потому что очень много повидали на своём веку.

Про то, что они вымирающие, я ей не говорю. На мой век этих сосен хватит за глаза! И после меня они будут стоять всё так же стройно и высоко. И может быть, моя Катя, уже повзрослевшая, придёт сюда со своей племянницей или дочкой, остановится и скажет:

— Видишь, какие сосны задумчивые!..





ИЗГИБ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ

Тропинки никогда не бывают прямыми. Особенно в лесу — вечно виляют, делают петли. Иногда совсем непонятно зачем! Ну ладно, думаешь, там обогнула пень, тут не захотела идти в непролазный ельник. А здесь-то что? На ровном месте делаешь крюк в двадцать шагов... Не жалко этих шагов, а просто интересно узнать: в чём дело?

Постоишь, постоишь — и вдруг вспомнишь: да ведь тут года два-три назад была огромнейшая лужа с лягушками.

Вот ведь как. Выходит, и у лесных тропинок есть своя особая память. И может быть, каждый их непонятный поворот — это своя история?

Может быть, так, а может, и нет. Но по крайней мере одна из таких историй произошла на моих глазах...

Человек срубил берёзу толщиной в палец. Срубил просто так. Шёл по тропе и от нечего делать тюкнул топориком. Я потому это знаю, что берёза прямо тут и валялась — посреди тропы.

Почему-то я не мог перешагнуть через эту срубленную берёзу, как через простую палку. И я обошёл её. Тем более, что особого труда тут не было: каких-то три-четыре лишних шага.

Случилось это в самом начале весны. Всё кругом было ещё голо. Только ели выглядели торжественно и строго. Но недели через две почки на осинах, ивах и берёзах не выдержали — треснули. Сразу по лесу словно пошёл зелёный дым. В первые дни, когда листья ещё совсем крошечные, это бывает очень красиво.

Появились листья и на срубленной берёзе. Она как будто ни о чём не подозревала, распускалась, как обычное дерево весной. И теперь уже все, кто шёл по тропе, не хотели перешагивать через берёзу, а обходили её. Только почему-то не с той стороны, где я, а с другой.

Зелёные листья ещё долго оставались на срубленной берёзе — место там было сырое. Одно время даже стало казаться, что деревце дало новые корни. Но в середине мая, когда стало жарче, берёза завяла. Потом кто-то убрал её с дороги.

И всё-таки изгиб этот — всего три-четыре лишних шага — на тропе остался. Как будто встала там невидимая ограда. За нею растёт непрямая трава и пчела по-хозяйски расправляет цветок. А тропинка проходит сбоку...



КАКИМ БЫВАЕТ СНЕГ

Самый первый снег робок и тих. Ложится на чёрную октябрьскую землю: «Ой! Извините!» И тает. Лишь кое-где притаится по бороздкам, оставшимся от змеиного следа последнего велосипедиста.

Первый снег. Он лежит, словно просто для красоты, чтобы лишь подчеркнуть, как черна напившаяся осенней воды земля, как озимое поле свежо сверкает... Небо серое, снежок белый и лёгкий, словно на акварельном рисунке. А озимое поле так и сияет, сияет, словно оно освещено каким-то невидимым солнцем.

Иной раз выйдешь из лесу, глянешь на него — как оно лежит на пологом склоне противоположного холма. И поймёшь: всё кругом спит, а это поле и верно освещено — солнцем жизни.

Силён и спокоен январский снег. Тяжёлым холодным одеялом накрывает он поля. Гнёт к земле деревья. А какая ёлочка послабей — он и ломает!

Солнце выглянет утром, загорится, высоко поднимется в небо. А небо синее, бездонно. Глянешь из окошка — что за день чудесный! Прямо весна! Кажется, ещё чуть-чуть — и посыплется с крыши капель.

Но только выйдешь — и дух захватит. И сейчас же пожалеешь, что не взял вторых рукавиц... Мороз, ну и морозище! Много снегу, много и холоду. Солнце висит вверху, словно лампочка в холодильнике: светит, а не греет.

Через поле проложена синяя тропинка. Идёшь по ней — ногу ставишь осторожно, как канатоходец. Чуть неверный шаг — по колено, а то и по пояс провалился в сыпучее снежное болото... Ворона натужно тянет по замёрзшему льдистому небу: «Ой, холодно! Ой, долго ещё до тепла»!

Самый злой и колючий — это февральский снег. Метели одноногие кружатся, прыгают по полям и над лесом, сшибаются в один воющий ком. А небо мглистое, низкое. Кажется, только руку протяни — и вот оно... Но не поднять руки, не разлепить глаз. Идёшь, нахлобучив шапку на лоб. А ветер так и бросает тебя, так и гонит, словно бумажного.

Злится февральский снег, лютует — лупит путника по шап-



ке, по ватной спине... Лупи-лупи! Недолго тебе осталось... Злодей! Колдун! Ведьмин сын!

И вдруг остановишься: «Боже ты мой, куда ж это я забрёл? Куда ж это он меня затащил? О-ё-ёй! Лишь бы до дому добраться!»

Самый последний снег — апрельский. Он плотный и липкий, никаким ветром его не поднимешь, пристал к земле, словно белый пластилин.

Апрельский снег — дырявый: весь в дырах проталин, весь в дырах луж. Что уж там деревья, что уж там кусты — кочки и те голову начинают подымать. Вылезет из-под снега — рыжая, непричёсанная: «А вот она и я!»

В березняке снегу ещё немало, но весь он в мелких оспинках берёзовых семян-самолётиков. Лыжи скользят плохо... Я стою среди берёзового царства. Берёзы уже белее снега. Лыжня уходит, теряется среди стволов, словно среди тумана.

Вчера по этой лыжне ушёл от нас дедушка Мороз.





ПОД КРЫШЕЙ ИЗ ОБЛАКОВ

Вечер застаёт меня в дороге. До ближайшей деревни, если верить карте, километров восемь, а то и все десять. Правда, я на велосипеде, так что можно было бы попасть туда и сегодня, в эту деревню Ельдигино. Да стоит ли? Лучше заночевать прямо здесь, в поле.

Впереди, на горизонте, там, где садится солнце, тёмный густой ельник. Сейчас он весь высвечен закатом. За спиной у меня, на другом горизонте, слабо белеется березняк. А кругом всё луга, луга, кой-где переходящие в мокрые низинки. Меж лугов этих — они ещё густые, высокие, не тронутые косой — неслышно виляет речка Клязьма.

Никуда я отсюда не поеду!

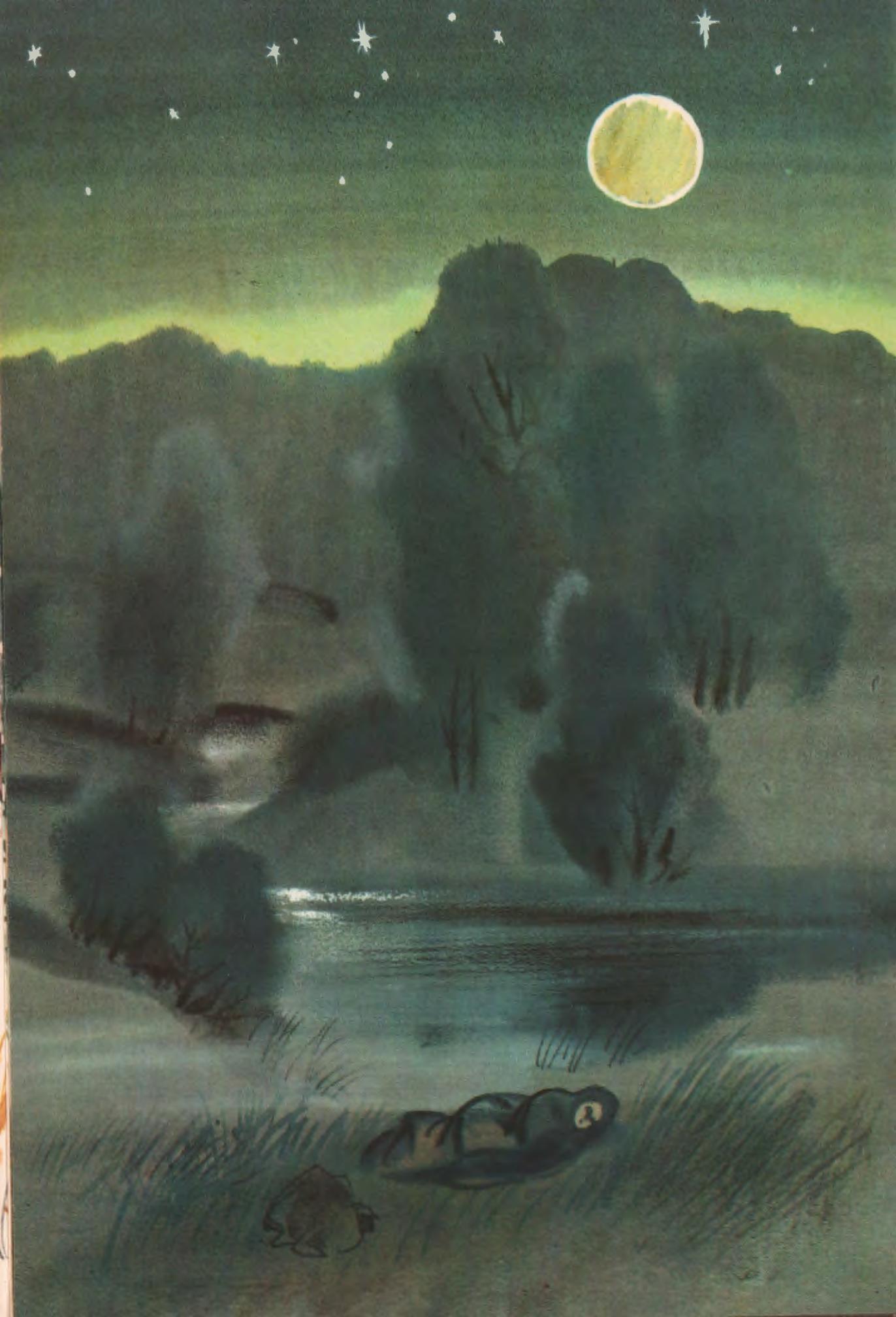
Беру с багажника маленький рюкзачок — там у меня самые важные для дороги вещи, например, плоский, ещё военный котелок. С ним я иду к реке... Набрал воды и тут вспомнил, что забыл полотенце и мыло. Но это ничего — мыло мне заменит песок и мыльная синяя глина. А вместо полотенца будет ветер.

Огонь мне разводить не хочется. Дров здесь особенно не наберёшь, а затевать костёр на полчаса — это, по-моему, хуже нет. Только темноту зазря злить: потом, как дровишки кончатся, уж она отомстит, такой чернотой облепит, такой тоской навалится... Нет, темноту лучше не дразнить, лучше с ней жить в мире.

На ужин у меня хлеб, кусок сыру и холодная вода — неплохо... А сам я — на ужин комарам... Им тоже неплохо. Ну да ладно. Пусть попируют последние минутки. Из рюкзака я достаю флакон с такой особой жидкостью, которую комары ну просто не переносят. Я мажу ею лицо, руки, шею — кончен комариный ужин.

Теперь мне пора спать укладываться. На багажнике, рядом с рюкзаком, лежит спальный мешок, или, ещё по-другому сказать, спальник. Так его называют альпинисты. И я так его называю, потому что этот мешок мне альпинисты подарили.

Спальник у меня очень хороший — прочный, непромокаемый, внутри мягкий-мягкий. Почти во всю длину по нему идёт молния — не тоненькая и капризная, с какими мы обычно мучаемся на куртках или зимних сапогах, а такая... в общем, сразу видно, что не подведёт. По молнии бегают замочки, вроде маленького трактора, — едет и тихо рычит.



И вот я раскатал свой спальник прямо на траве, снял кеды и всё лишнее, чтобы не было жарко, залез внутрь, застегнул молнию до самого подбородка и почувствовал себя, как кенгурёнок в сумке у матери...

Началась ночь. Прямо надо мною горели звёзды. Пройдёт немного времени, и они переспеют, перевисятся и начнут падать. Тогда только успевай желания загадывать вслед покотившейся звезде...

А над березняком в это время началось жёлто-красное медленное свечение. Это поднималась луна. Вот её шар влез на верхушки берёз, а потом сантиметр за сантиметром стал уходить в небо. Кругом светлело и светлело — это луна из медной превращалась в серебряную, нестерпимо яркую. Даже смотреть стало больно. Глаза мои сами собою закрылись...

Я проснулся часа через два или три. Всё было спокойно. Луна царствовала на небе, заслонив своим светом все звёзды. Я не мог понять, отчего я проснулся. словно что-то изменилось в природе... Но что?

Ветер принёс резкий запах болота и медленный колдовской запах реки. Я приподнялся на локте, и глаза мои стали вровень с травой. Далеко было видно, как она серебрится под яркой лунной. Стало очень тихо, потом опять присвистнуло, и я увидел, как травую бежит ветер. Я увидел ветер.

А по небу в это время пробежали облачка, но такие прозрачные, что нисколько не мугили свет луны...

И всё-таки что же меня разбудило? Сны снились хорошие... Но вдруг я увидел: прямо на меня вверх по небу ровной стеной плыли облака. Казалось, надвигается огромная заслонка.

Вот облака заполнили всё небо, и тут они сразу остановились. Зато луна побежала, побежала с той стороны облаков по ватным холмам и низинам. Побежала от одной проруби в облаках до другой. У каждой такой проруби она останавливалась, минуту глядела на землю, а потом опять бежала по облачным холмам. Проруби, куда она заглядывала, чаще всего были затянуты слабой облачной паутиной. Хотелось протереть их рукавом, как протираешь зимнее окошко. С этим я и задремал...

Уже с закрытыми глазами я чувствовал, как раз за разом разгорается и снова гаснет луна. Ещё я слышал — уже сквозь сон, как, ударяя траву мягкими копытами, пронёсся ветер.

Я спал, и мне хорошо было в этом огромном и спокойном мире под крышей из облаков.



ЕЛИ КАШУ С МОЛОКОМ

Это было давно. Это было так давно, что мне уж столько и не прожить. Это было тридцать пять лет назад.

Только что кончилась война, было голодно... Как это голодно? А так: простая каша с коровьим молоком казалась всем очень вкусной едой.

Мама ушла на работу, бабушка — в очередь за хлебом, а нам — моей сестре Светлане и мне — оставили гречневой каши и молока. Сказали: «Это вам на обед. Когда обед придёт, тогда съедите». И мы стали ждать.

Сестра моя была довольно взрослая девочка лет десяти. А мне было четыре или пять.

И вот наконец обед пришёл. Светлана высыпала кашу в глубокую тарелку, вылила кружку молока. А я внимательно смотрел, что она делает. Светлана мне и говорит:

— Давай, Серёжа, есть из одной тарелки. И не надо лишнюю тарелку мыть, и меньше молока пропадёт: то на одном донышке останется, а то на двух.

Мне понравилось, как она говорила. Но всё же я сообразил кое-что.

— Ага,— говорю,— хитрая! Ты же большая, ешь быстрее. Тебе и каши больше достанется, а мне меньше!

— А мы давай,— отвечает Светлана,— положим посредине тарелки лучину. Тогда и получится поровну: половина твоя, половина моя.

Я согласился. Мы сели напротив друг друга и стали есть. Я одну ложку, Светлана две. Я одну ложку, Светлана две! А лучина лежит сверху и, конечно, совсем не помогает делить кашу поровну!

И когда уж осталось меньше половины, я наконец сообразил, что она меня обманывает, Светланища! Мне так горько сделалось. Ведь это была для меня очень важная вещь — каша с молоком. И тогда, ни слова не говоря, я положил ложку на стол и выбежал из комнаты.

Полутёмные наши сенцы стали ещё темнее оттого, что я плакал. И сам я того не заметил, как наскочил на тяжёлый такой, упрямый табурет с острым краем. Наверное, ударился я небольно, а показалось — очень. В коленке что-то ойкнуло...

Я схватил шапку, кое-как сдёрнул с вешалки пальто и выбежал на улицу...

И замер.

Кругом была необыкновенная весна, подмосковное небо синело — даже больно было глядеть. А мы-то, глупые, полдня просидели дома — всё ждали, когда придёт обед.

С крыши, с длинных, как палки, сосуллек, летела капель — яркие чуть вздрагивающие шары. Над нашим домом висело плоское белое облако. Весеннее-весеннее! И рядом с облаком горело солнце.

Светлана выбежала на улицу — как была, в одном платье... Теперь-то, когда мы выросли и стали взрослые, я вижу, что она вовсе не высокая и довольно худенькая. Но тогда она казалась мне и большой и даже толстой. Рядом не было ни папы, ни мамы, ни бабушки. И я уткнулся в Светланино взрослое платье, чтобы скрыть от неизвестно кого свою бывшую обиду и свои слёзы.

Светлана провела рукою по моей щеке:

— Не плачь, я тебе всю кашу оставила!

А мне уж не надо было той каши.

— Я не плачу,— ответил я,— это просто сверху накапало.

Мы были тогда маленькие — и ссорились и легко мирились.

Теперь стали взрослые, и я иной раз думаю: вот бы нам так уметь мириться, как мы умели тогда.

Солнышко засветит, облако проплывёт, ссоры как не бывало.



ЛИВЕНЬ, ПОТОМ СОЛОВЕЙ

Ранняя весна. Бывает же такое: что по радио объявляют про Ташкент и Крым, то и у нас в Подмосковье — теплынь, листья, трава. Уже хочется купаться, но нельзя. Надо ждать первой грозы.

И вот сегодня к вечеру наконец громыхнуло — да так близко! Молния вспыхнула и вонзилась где-то совсем за домом. Обдала нас синим своим, неживым светом.

Сейчас же полил, как обвалился, дождь — целой стеной, серой и прозрачной. Все, кто умел бегать, ползать, летать, попрятались, забились... Зато деревья так и тянулись кверху — словно поближе к дождю. До чего ж, наверно, хорошо им было помыться после зимы под таким благодатным, тёплым, под таким щедрым ливнем!

Гроза ударила ещё раза три и ушла — словно торопилась, словно хотела оповестить всех купальщиков нашего края: можно, теперь можно. Со всех речек, озёр и прудов замки сняты!

Гроза ушла, а ливень остался с нами. Крыша нашего дома ровно и низко гудела, словно мотор. Только гуд этот не мешал ни работать, ни думать, ни разговаривать. Сверху, мимо окон террасы, пролетали целые рукава чистой воды.

Без всякого вечера настала ночь. Но и в темноте продолжало хлестать. Дождь работал легко — лился в своё удовольствие... И мы только могли гадать, мы только могли удивлённо качать головами: какая же невероятная туча приползла на наше небо! Такая, каких и не бывает. Только, может, во сне! Но если это нам снилось, то сон продолжался уже три часа с лишним.

Все жители нашего дома устали от дождя и разбрелись по своим комнатам. Всякому известно, как хорошо спится и как хорошо засыпается во время дождя.

Только я один остался на террасе — нахохлившийся, какой-то без причины сердитый — ждать, чем дело кончится. Попробовал что-то писать. Но карандаш не слушался — скользил по отсыревшей бумаге. Я сидел и смотрел, как мимо освещённых окон террасы с крыши бежали сверкающие верёвки воды. Я сидел и думал, уж не помню о чём, — лишь бы не ложиться спать.

И всё-таки я пересидел его. Он перестал. Сначала незаметно убавил силы. Я продолжал смотреть на летящие вниз струи,



и мне казалось, что сам я поднимаюсь. Потом веселье струй поубавилось—это я уже заметил. Потом гудение на крыше стало дробиться на отдельные удары—удары капель. Потом на секунду дождь снова усилился и потом вдруг разом ослаб, спустился до тихой-тихой моросейки... Я распахнул окна, дверь. На мгновение захотелось разбудить всех. Но конечно, я этого не сделал.

Я вышел на улицу. Было начало двенадцатого ночи. И тут я услышал первого в этом году соловья.

Он был первым соловьём, а я был первым слушателем. Потому что все спали, усыпленные и обманутые дождём. А я не спал. И слушал его.

Пел он ещё робко, с перерывами—как бы только пробовал колена, собирал по частям будущую песню. Далёкий голос его был едва различим за громкой после дождя капелью.

Сильно и свежо пахло молодым берёзовым листом.





НА РОДИНЕ

Тишина. Стою босой по колено в июльской траве. Над головой неподвижно плывёт большое белое облако. Семнадцатое число, самая макушка лета. Тишина. Реки не слышать — слиш-ком тиха. И ветра не слышать... И не слышно того самолётика, что чертит белый след по самой небесной тверди — выше облака и выше всего. Тишина. И самый громкий здесь звук — удары моего сердца: секунда, секунда, секунда, секунда...

Говорят, по окрестностям больших городов полевые цветы стали чуть ли не редкостью. Особенно колокольчики... Здесь их вдоволь! И вдоволь ромашек, пастушьей сумки, и львиного зева, и капельных ярко-жёлтых цветочков калгана — целебной травы.

«Целебной травы...» Я написал эти слова и задумался. Потому что нет на свете нецелебных растений!

Это поможет быстрее заживить оцарапанный палец, настойка из этого успокоит головную боль, а то надо заварить вместо чая и на ночь — простуду как рукой...

Но может быть, самое целебное — не пить их настои, не прикладывать к ранам, не делать из них снадобья и мази. Самое целебное — прийти сюда однажды и вот так постоять по колено в траве. И узнать, что самый громкий звук на свете — удары твоего сердца: секунда, секунда, секунда, секунда...

Простое чудо июльского луга — синева, зелень, цветы, солнце. Такое привычное и такое необходимое нам.

И такое хрупкое... Да, хрупкое. Теперь уж мы точно знаем, что чудо июльского луга надо беречь.

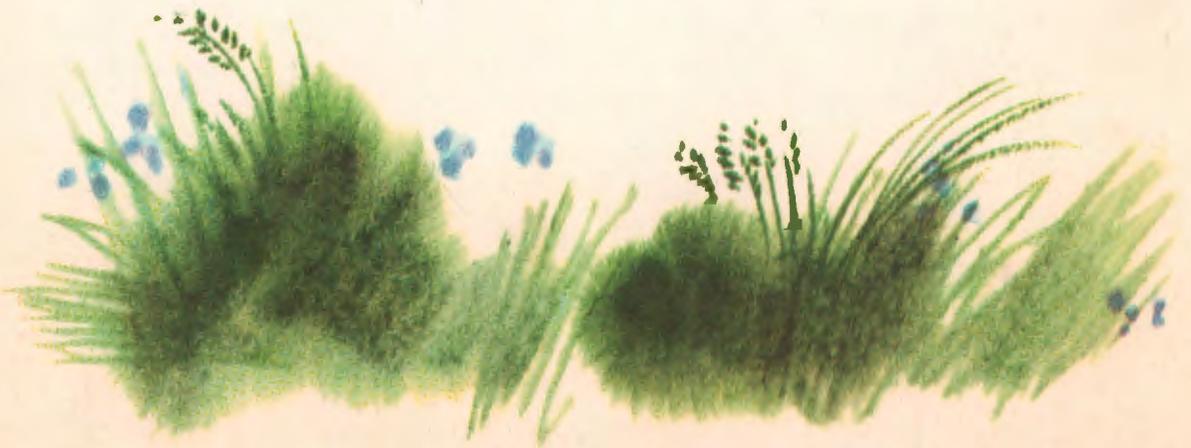
Беречь... Как? В заповедниках? Что ж, и это хорошее дело. Но ведь каждую ромашку не посадишь под замок и каждый ручей не упрячешь за ограду. Да и не нужно! И даже обидно: разве мы дикие звери или браконьеры, чтобы бессмысленно убивать палками колокольчики или бросать в ручей консервные банки. Мы хотим с ними дружить — и с этим ручьём, и с колокольчиками. Родная природа, мы любим тебя, мы не сможем да и не хотим жить без твоей целебной доброй помощи!

Спокойно дыши, июльский луг. Спокойно плыви в синеве, белое облако. Мы, люди, — твои верные помощники, защитники и друзья. А тот, кто ещё не стал таким, пусть становится как можно скорее!



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЕ ДНИ	3
ПИСЬМО	5
ВОЕННЫЕ СОСНЫ	9
ИЗГИБ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ	15
КАКИМ БЫВАЕТ СНЕГ	17
ПОД КРЫШЕЙ ИЗ ОБЛАКОВ	21
ЕЛИ КАШУ С МОЛОКОМ	25
ЛИВЕНЬ, ПОТОМ СОЛОВЕЙ	27
НА РОДИНЕ	31



40 к.

Художник В. Топков

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сергей Анатольевич Иванов

ПОД КРЫШЕЙ ИЗ ОБЛАКОВ

Рассказы о Подмоскowie

Редактор Г. Гладкова Художественный редактор Н. Молоканов
Технический редактор М. Матюшина. Корректор Н. Шадрин
ИБ № 2491

Сдано в набор 20.06.88. Подписано в печать 14.02.89. 60×84¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Гарнитура литерат. Печать офсет.
Усл. печ. л. 3,7. Усл. кр.-отт. 16,66. Уч.-изд. л. 4,01. Тираж 150 000 экз. Изд. № 1732. Заказ № 2353. Цена 40 коп.
Издательство «Малыш», 121352, Москва, Давыдовская ул., д. 5. Калининский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР. Расгавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040,
Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

И 4803010201—032 48—89
М102 (03) —89



© Издательство «Малыш» 1989

